

Вирджиния Вулф

Орландо

© Е. Суриц, перевод, 1997

© А. Аствацатуров, статья, 2000

© «Азбука-классика», 2004

ГЛАВА 1

Он – потому что пол его не подлежал сомнению вопреки двусмысленным ухищрениям тогдашней моды – был занят тем, что делал выпады кинжалом возле головы мавра, покачивающейся на стропиле. Была она цвета старого футбольного мяча и почти от него неотличима, если бы не впалые щеки да скупые прядки сухих и жестких волос – как пух на кокосе. Отец Орландо – или, может быть, это дед – снес ее с саженных плеч язычника, увидевшего свет в диких пустынях Африки; и теперь она непрестанно и нежно покачивалась от ветра, задувавшего в чердачные комнаты гигантского замка, который принадлежал отсежнему ее лорду.

Праотцы Орландо скакали верхами по полям асфоделей, и по кремнистым полям, и по полям, омываемым чуждыми реками, и немало сносили голов самого разного цвета со множества плеч, и привозили их домой, и вешали на стропилах. Орландо поклялся, что продолжит дело предков. Но покамест ему не исполнилось и семнадцати, еще не дорос, его не брали с собой скакать по Африке или Франции, а потому он тихонько ускользал от матери, от павлинов в саду, крался на чердак и там делал выпады кинжалом, приседал, наклонялся, резал воздух клинком. Иногда он перерезал веревку, и тогда голова скатывалась на пол, и приходилось снова ее привязывать, не без почтения крепя почти в недостижимости, и враг победно скалился черным, иссохшим ртом. И голова качалась, качалась, потому что дом, в верхнем этаже которого жил Орландо, был так громаден, что ветер навеки попадался в ловушку и метался по чердаку, не находя выхода, зимою и летом. Предки Орландо были высокородны – всегда, с тех пор, как они были вообще. Они поднялись из северного тумана в коронах пэров. И полосы тьмы на полу не оттого ли так графили желтую заводь, что солнце вливалось на чердак сквозь просторный герб витража? Орландо сейчас стоял в самом центре желтого геральдического леопарда. Когда он положил руку на подоконник, чтобы отворить окно, рука стала красной, голубой и желтой, как крыло бабочки. И любители символов, охотники до их расшифровки, могут взять на заметку, что, тогда как прелестные ноги, стройное тело и отличный разворот плеч Орландо окрасились всеми геральдическими оттенками, лицо его, когда он отворил окно, озарялось

исключительно самим солнцем. Более светлого, строптивного лица вы себе и представить не можете. Блаженна мать, которая произвела такого на свет, еще блаженней описывающий его жизнь биограф! Ей никогда не придется печалиться, ни ему – нуждаться в услугах поэта или романиста. От подвига к подвигу, от победы к победе, от должности к должности будет следовать герой, и его летописец за ним, покуда не достигнут оба того положения, которое явится вершиною их мечтаний. Орландо, судя по внешности, был в точности создан для подобного поприща. Розовые щеки подернулись персиковым пушком; пушок над губой всего лишь чуть-чуть загустевал по сравнению с пушком на щеках. Сами губы были резко очерчены и слегка изогнуты над безупречным рядом миндальнейше-белых зубов. Без сучка без задоринки был задорно-стремительный нос; волосы темные; и маленькие, тесно прижатые к голове ушки. Жаль, однако, что сей перечень юных совершенств будет неполон без упоминания о лбе и глазах. Жаль, что люди редко появляются на свет лишенными того и другого; ибо, едва мы взглянем на стоящего у окна Орландо, мы вынуждены будем признать, что глаза у него были, как фиалки в росе, громадные, будто переполненные их расширяющей влагой; а лоб – как мраморный купол, зажатый меж медально-гладких висков. Стоит нам взглянуть на этот лоб и в эти глаза – и мы Бог знает до чего можем договориться. Стоит нам взглянуть на этот лоб и в эти глаза – и мы вынуждены будем признать тысячи неприятных вещей, мимо которых обязан скользить всякий уважающий себя биограф. Увиденное его раздражало, – например, его мать, весьма прекрасная собою дама в зеленом, направляющаяся кормить павлинов в сопровождении Туитчетт, своей горничной; увиденное его восхищало – деревья, птицы; влюбляло в смерть – вечернее небо, снижающиеся грачи; и, взлетев по спиральным ступенькам мозга – а мозг был вместительный, – увиденное, смешавшись с садовыми звуками – треск деревьев, стук топора, – вызывало в нем разгул и сумятицу чувств и страстей, которые ненавидит всякий уважающий себя биограф. Продолжим, однако, – Орландо медленно втянул голову в плечи, сел за стол и с отвлеченным видом человека, привыкшего делать это ежедневно в определенный час, вынул тетрадь, озаглавленную «Этельберт. Трагедия в пяти актах», и обмакнул старое испачканное гусиное перо в чернильницу.

Скоро он намарал страниц десять стихов. Мысль его, очевидно, была быстра, но абстрактна. Порок, Преступление, Нужда были персонажи драмы; Король и Королева правили неозначаемыми территориями; ужасные замыслы их поглощали; благородные чувства снедали; ни слова не

говорилося так, как сказал бы он сам, но все выворачивалось с быстротой и ловкостью, которые, учитывая его возраст – ему еще не исполнилось и семнадцати – и тот факт, что шестнадцатому столетию оставалось скрипеть еще несколько лет, – были поистине замечательны. Но вот наконец он запнулся. Он, как все и всегда молодые поэты, описывал природу, и, чтобы как можно точнее передать оттенок зеленого, он взглянул (проявляя незаурядную смелость) на сам зеленый предмет, которым в данном случае оказался лавровый куст у него под окном. После чего, разумеется, о писании уже не могло быть и речи. В природе зеленое – это одно, и зеленое в литературе – другое. Природа со словесностью не в ладу от природы; попробуйте-ка их совместить – они изничтожат друг друга. Оттенок зеленого, который разглядел Орландо, сразу нарушил рифму, сломал ему метр. Но природа еще и не на такое способна. Взгляните только в окно, на пчел между цветов, на зевнувшего пса, на солнце, клонящееся к закату, только подумайте: «Много ли мне суждено еще увидеть закатов» – и т. д. и т. п. (мысль чересчур известная, чтобы приводить ее здесь целиком), и вы уроните перо, схватите плащ и выскочите из комнаты, споткнувшись при этом о расписной сундук. Потому что Орландо был чуточку неловок.

Он старался никого не встретить. Стаббс, садовник, шел по тропе. Орландо прятался за деревом, пока тот не прошел мимо. И скользнул к боковой калитке. Он обходил стороной все конюшни, все псарни, пивоварни, плотницкие, бани – все места, где вытопляли воск, забивали скот, ковали подковы, тачали сапоги, ибо замок вмещал в себя целый город, гудевший людьми, занятыми разными ремеслами, – и, никем не замеченный, он вышел на заросшую, бежавшую вверх по холму тропку. Есть, наверное, связь между свойствами: одно тянет за собой другое; и биограф обязан тут привлечь свое внимание к тому факту, что неловкость часто бывает связана с любовью к уединению. Раз он споткнулся о сундук, Орландо, конечно, любил уединенные места, просторные виды – любил чувствовать, что он один, один, один.

И после долгого молчания он, наконец-то открыв уста, выдохнул: «Я один». Он очень быстро пошел в гору через папоротники и кусты боярышника, спугивая диких птиц и оленей, и вышел к месту, осененному одиноким дубом. Это было высоко, так высоко, что девятнадцать графств Англии были видны внизу, а в ясные дни и все тридцать, а то и сорок графств – в уж очень хорошую погоду. Иногда можно было увидеть Ла-Манш, неустанно кативший свои волны. Можно было увидеть реки, и скользящие

по ним лодочки, и плывшие к морю галеоны; и армады, а над ними пушечный пух и дальний пушечный гром; и форты по берегам; и замки среди лугов; а там сторожевую башню, там крепость, и снова просторный замок, как у отца Орlando, огромный, как город, и обнесенный стеной. К востоку были шпили Лондона, городской дым; а на самом, наверное, горизонте, когда ветер дул куда следует, скалистая вершина и острые зубцы Сноудона [1]сквозили между облаков. Минуту Орlando стоял подсчитывая, разглядывая, узнавая. Вот замок отца, вот дядин. Тетушкины – те три башни среди деревьев. Поля были их, и леса; фазаны, олени и лисы, бобры и бабочки.

Он глубоко вздохнул и припал – в движениях его была страстность, заслуживающая этого слова – к земле у корней дуба. Ему нравилось в быстротечности лета чувствовать под собою земной хребет, за каковой принимал он твердый корень дуба; или – ибо образ находил на образ – то был мощный круп его коня; или палуба тонущего корабля – не важно что, лишь бы твердое, потому что ему непременно хотелось к чему-то прикрепиться плавучим сердцем – сердцем, тянущим в путь; сердцем, которое будто наполняли тугие, влюбленные ветры, каждый вечер, едва он вырывался на волю. Вот он и прикрепил его к дубу и так лежал, покуда постепенно унимался трепет в нем самом и вокруг; затихнув, повисали листочки; замирали олени; останавливались летние бледные облака; затекали и тяжелели его члены; и он очень тихо лежал; и олени уже подступали ближе, и над ним кружили грачи, и ласточки, ныряя, припадали к нему, голову близко-близко облетали стрекозы, – будто вся щедрость, все плодородие летнего вечера влюбленным наметом окутывали его тело.

Через час, наверное, – солнце быстро скатывалось к горизонту, белые облака тронуло багрецом, холмы лиловостью, синевую лес, и долины почернели – протрубил рог. Орlando вскочил. Пронзительный зов шел из глубины долины; откуда-то из темноты; из тесноты; из лабиринта; из города, препоясанного стенами; он шел из недр собственного его величавого дома, темного прежде, но, пока он на него смотрел и одинокому рогу вторили все новые, все более настойчивые зовы, дом этот стряхивал с себя темноту и вот уже засветился огнями. Были огоньки мельтешащие, поспешные, как когда слуги бегут по коридору на господский колокольчик; были высокие, важные огни, какие горят в пустынности пиршественных зал в ожидании гостей; и еще другие огни ныряли, парили, тонули, взлетали, как и положено огням в руках у слуг, когда те кланяются,

преклоняют колена, со всею пышностью вводя в покои владычицу, высадившуюся из кареты. Кони трясли плюмажами. Пожаловала Королева.

Орландо никуда уже не смотрел. Он мчался вниз. Метнулся в ворота. Взлетел по винтовой лестнице. К себе. Чулки швырнул в один угол, куртку – в другой. Он смачивал волосы. Тер руки. Полировал ногти. Перед маленьким зеркалом, при двух оплывших свечках, натянул алые бриджи, надел плоеный воротник, тафтяной жилет, туфли с помпонами вдвое больше георгинов – все за десять минут ровно по часам. Он был готов. Он был весь красный. Задышался. Но он опаздывал ужасно. Срезая расстояние, он спешил изведанным путем по анфиладам, переходам, лестницам к пиршественной зале, на пять акров отдаленной от всех замковых сторон. Но, как он ни спешил, скользя мимо людских и девичьих, он вдруг остановился. Дверь гостиной миссис Стьюкли стояла настежь, – без сомнения, сама она со всеми своими ключами побежала к хозяйке. Но там, за обеденным столом прислуги, перед пивной кружкой и листом бумаги, сидел обрюзгший, обшарпанного вида господин с грязноватыми манжетами и в темном домотканом платье. Он держал в руке перо, но не писал. Казалось, он перекачивал, примеривал в уме какую-то мысль, пока не приладит ее окончательно к своему вкусу. Глаза, выкаченные, застланные, похожие на странные зеленые камни, он впери в одну точку. Орландо он не видел. Как ни спешил Орландо, он застыл. Уж не поэт ли перед ним? Уж не стихи ли сочиняет? «Расскажите мне, – хотелось крикнуть Орландо, – расскажите обо всем на свете», ибо о поэтах и стихах у него были самые дикие, самые нелепые понятия, – но как вы заговорите с человеком, когда он вас не видит? Когда он видит вместо вас людоедов, например, сатиров, а то и дно морское? А потому Орландо стоял и смотрел, как тот вертел в руке перо и так и эдак и думал с неподвижным взором и потом вдруг быстро набросал несколько строк и снова поднял глаза. После чего, охваченный робостью, Орландо поспешил дальше и влетел в пиршественную залу как раз в последнюю секунду, чтобы броситься на колени, смущенно поникнуть головой и протянуть чашу розовой воды самой великой Королеве.

Из-за своей робости он видел только опущенную в воду руку, унизанную перстнями; но и того довольно.

Рука врезалась в память: тонкая, с длинными пальцами, как бы навечно округленными на скипетре или державе; нервная, злая, нездоровая рука;

повелительная; рука, по манию которой слетает с плеч любая голова; рука, как догадался он, соединенная со старым телом, которое пахнет шкапом, где меха блюдутся в камфарных шариках, и, однако, обряжено в парчу и жемчуга – прямое, как струна, несмотря на мучительную ломоту в суставах; не сдающееся, как бы ни терзали его страхи; а глаза у Королевы были светло-желтые. Все это он почувствовал, покуда посверкивали в воде великолепные перстни, а потом голову ему странно сжали – чем, возможно, и объясняется тот факт, что он не видел больше ничего хоть сколько-нибудь достойного внимания летописца. К тому же в мыслях его клубился вихрь противоположных впечатлений – черная ночь и полыхание свечей, обшарпанный господин и великая Королева, сонные поля и толкотня слуг, – словом, он не видел ничего, точнее, видел только руку.

Королева же, из-за аналогичного стечения обстоятельств, видела, вероятно, только голову. Но если можно по руке составить представление о теле, вмещающем все атрибуты великой Королевы – ее вздорность, храбрость, ее хрупкость и безжалостность, – то, разумеется, и голова, с тронной высоты увиденная той, чьи глаза, если верить восковым персонам в Вестминстерском аббатстве, всегда глядели зорко, тоже поставляла достаточную пищу для умозаключений. Длинные локоны, склоненные перед нею так смиренно, так невинно, разве не свидетельствовали о паре стройнейших ног, на каких только стаивал когда-нибудь юный вельможа, о фиалковом взоре и золотом сердце, о верности владычице и мужских чарах – всех тех чертах, которые старая женщина ценила тем сильнее, чем меньше они оставались ей подвластны. Ибо Королева постарела и прежде времени согнулась. В ушах ее вечно гремел пушечный гром. Перед глазами блистала то капля яда, то клинок. Сидя за столом, она прислушивалась и слышала канонаду со стороны Ла-Манша; она вздрагивала: что это – ругань? шепот? Невинность, простота кажутся еще милей, когда их сопоставишь с эдаким мрачным фоном. А потому в ту же ночь, если верить преданию, пока Орlando крепко спал, она, по всем правилам скрепив пергамент своею подписью и печатью, отказала огромный уединенный замок, прежде бывший в пользовании архиепископа, а потом и короля, – отцу Орlando.

Орlando всю ночь проспал в полном неведении. Королева его поцеловала, а он и не заметил. Но может быть, – кто разберется в женском сердце? – именно его неведение и то, как он вздрогнул, когда ее губы коснулись его щеки, – именно это все и удержало воспоминание о юном родиче (они

были родня) в сердце Королевы? Так или иначе, не прошло и двух тихих сельских лет – Орландо едва успел сочинить каких-нибудь двадцать трагедий, всего дюжину поэм и десятка два сонетов, – как поступило известие, что Королева ждет его в Уайтхолле.

– А! – сказала она, глядя, как он приближается к ней длинной галереей. – А вот и мой непорочный мальчик! (В облике его сохранялась чистота, намекавшая на непорочность, тогда как слово в прямом значении было уже к нему неприложимо.)

– Приблизься! – сказала она. Прямая, как проглотив аршин, она сидела у огня. Она задержала его на расстоянии метра и мерила взглядом с головы до пят. Сверяла ли она те, прежние наблюдения с увиденным теперь воочию? Подтвердились ли ее догадки? Глаза, рот, нос, грудь, бедра, руки – все это она оглядела; и губы у нее явственно подрагивали; но при виде его ног она расхохоталась вслух. Он был – живой образчик юного вельможи. Да, но каков он изнутри? Она воткнула в него желтый ястребиный взор, словно намереваясь насквозь пробуравить душу. Он не дрогнул, только зарделся, как дамасская роза, что ему очень шло и подобало. Сила, благородство, возвышенность мечтаний, безрассудство, юность, поэзия, – она читала как по раскрытой книге. Вдруг она стащила с пальца кольцо (сустав заметно вздулся) и, надев ему на палец, пожаловала его в камергеры и казначеи; потом наложила на него цепи службы и, повелев ему преклонить колено, привязала к стройнейшей части последнего усыпанный драгоценностями орден Подвязки. Отныне Орландо ни в чем не было отказа. При торжественных выездах он гарцевал рядом с королевской дверцей. Его отправили в Шотландию с грустным посольством к несчастной королеве. Он собрался уж отплыть на польские поля сражений, но тут его отозвали. Как могла она отдать на растерзание это нежное тело, как допустить, чтоб эта кудрявая голова скатилась в пыль? Она его держала при себе. В час победы, в час высшего торжества, когда гремели пушки Тауэра, и воздух так пропитался порохом, что впору нюхать его вместо табака, и толпы восторженно ревели у нее под окнами, она привлекла его к себе, к подушкам, на которые уложили ее фрейлины (она была слаба, стара), и вынудила уткнуть лицо в сей удивительный состав – она уже месяц не меняла платье, – от которого пахло, подумал он, вспомнив впечатления детства, ну в точности как из старого материнского шифоньера, где держали меха. Он поднялся, чуть совсем не задохшись в этих объятиях.

– Вот она! Вот она – моя победа! – шепнула Королева, и тут как раз взвилась ракета и облила багрянцем царственные щеки.

Да, старуха его любила. Королева, которая умела распознать мужчину, хотя, как поговаривали, и не совсем обычным способом, замыслила для него великолепную, блистательную будущность. Ему дарили земли, отписывали замки. Он будет утехой ее закатных дней – целебным бальзамом, могучей опорой на склоне сил. Она расточала эти посулы и странные, деспотические нежности (они теперь были в Ричмонде), проглотив аршин, в негнущейся парче сидя у огня, который, как его ни раздували, все ее не согревал.

А тем временем надвигались долгие зимние месяцы. Деревья в парке сковало холодом. Река уже с ленцой катила воду. И вот однажды, когда выпал снег, и толпились тени в темных залах, и в парке трубили олени, она увидела в зеркальце, которое всегда держала при себе, боясь соглядатаев, сквозь двери, которые всегда держала отворенными, боясь убийц, как юноша – нет! ужель Орландо? – целует девушку. О Господи! Да кто же эта наглая вертихвостка? Вцепившись в золотую рукоять кинжала, она бешенохватила по зеркальцу. Зазвенело стекло; сбежались люди; ее подняли и снова усадили в кресла; но она так и не оправилась от этого удара и, покуда дни ее влачили к концу, часто сетовала на предательство мужчин.

Возможно, Орландо и виноват; но, в конце концов, нам ли его судить? Век был елизаветинский; их нравы были не то что наши нравы; ну и поэты тоже, и климат, и даже овощи. Все было иное. Сама погода, холод и жара летом и зимой были, надо полагать, совсем, совсем иного градуса. Сияющий, влюбленный день отграничивался от ночи так же четко, как вода от суши. Закаты были гуще – красней; рассветы – аврористее и белей. О наших сумерках, межвременье, о медленно и скучно скудеющем свете не было тогда и помину. Дождь или хлестал ливня, или уж совсем не шел. Солнце сияло – или стояла тьма. Переводя все это в область метафизики, как водится у них, поэты прелестно пели о том, как вянут розы, опадают лепестки. Миг краток, они пели, миг минует, и долгой ночью все уснут. Ухищрения теплиц и оранжерей ради сохранности летучих лепестков и мигнов – были не по их части. О вялых затеях и половинчатости нашего усталого и сомнительного века они понятия не имели. Во всем был напор. Цветок цветет, вянет. Солнце встает, заходит. Влюбленный любит, бросает свой предмет. И то, что поэты рекомендовали в стихах, юноши исполняли

на деле. Девушки были – розы. Красота их была быстротечна, как красота цветка. Их следовало рвать до наступления темноты, ибо день краток и день – все. А потому, если Орlando, следуя велению климата, поэтов, самого века, сорвал с подоконника цветок, когда на землю выпал снег, а рядом бдела Королева, – неужто мы его осудим? Он был молод, неискушен – он уступал природе. Что же до девушки, мы не лучше королевы Елизаветы знаем ее имя. Дорис, Хлорис, Делия, Диана? Он всех по очереди их зарифмовал. Это могла быть знатная леди, могла быть и служанка. У Орlando был широкий вкус – он любил не одни садовые цветы: полевые цветочки, даже сорные травы равно пленяли его воображение.

Здесь, по обычаю биографов, мы грубо обнажим любопытную черточку Орlando, объясняемую, видимо, тем фактом, что одна из его бабок носила фартук и подойник. Несколько крупниц кентской и сассекской грубой почвы подметались к тонкому, изысканному току из Нормандии. Сам он считал, что смесь чернозема с голубой кровью вовсе недурна. Так или иначе, он всегда тянулся к низкому обществу, в особенности из грамотеев, которым ум так часто мешает выбиться в люди, – будто подчинялся родственному зову. В ту пору жизни, когда в голове его вечно жужжали рифмы и он редко ложился спать, не намарав предварительно какой-нибудь выпренности, шейка иной Сокольниковой дочки и смех лесниковой племянницы казались ему предпочтительней, чем все обольщения придворных дам. А потому он повадился ночами к Уоппинг-оулд-стеэрс [\[2\]](#) и тому подобным местам, окутанный серым плащом, дабы скрыть звезду на шее и подвязку на колене. Там, с пивною кружкой в руке, под перестук шаров и кеглей, он слушал повести матросов о том, чего они понатерпелись в земле Гишпанской; о том, как кто-то потерял палец, а кто, увы! и нос, – ибо устный рассказ не всегда столь гладко и приятно закруглен, как занесенный в книжку. Особенно любил он слушать, как они горланят песни об Азорских островах, меж тем как вывезенные оттуда попугайчики поклевывали кольца в их ушах, стучали твердыми, жадными клювами по их перстням и сыпали столь же отборной бранью, что и хозяева. Женщины едва ли уступали этим птичкам свободой манер и вольностью речей. Они взбирались к Орlando на колени, обнимали его за шею и, подозревая, что под его плащом скрыто кое-что незаурядное, спешили к доказательству своих догадок не меньше самого Орlando.

Возможностей представлялось достаточно. Река рано оживала и допоздна кишела яликами, барками и судами всякого разбора. Каждый день уходил в

море какой-нибудь славный корабль, держа путь на Индию, а другой, потемнелый, под обтрепанными парусами и с волосатыми чужаками на борту, тяжело вваливался в гавань. Никто не спохватывался, если юноша и девушка вalandались на реке после заката, не вскидывал бровь, едва молва заставляла их в мирных, сонных объятиях среди мешков с сокровищами. А именно такое приключение и выпало на долю Орландо, Сьюки и графа Камберленда. День был жаркий; ласки бурны; сон их сморил среди рубинов. Позже, ночью, граф, чьи богатства зависели во многом от рискованных испанских предприятий, один, с фонарем, пришел осматривать добычу. Он осветил бочонок. И отпрянул, чертыхаясь. Бочонок обвивали два сонных духа. Суеверный от природы, имея на совести немало тяжких преступлений, граф принял парочку (обоих окутывал алый плащ, а груди Сьюки были чуть не белей вечных снегов в Орландовых стихах) за духов утонувших матросов, вышедших к нему из морской пучины с немым укором. Он крестился. Он каялся. Строй богаделен вдоль Шин-роуд – и поныне ощутимый плод его минутного смятения. Дюжина неимущих приходских старух и посейчас днем попивает чай, а ночью благословляет его светлость за кров над головою, – так запретная любовь на контрабандном судне... однако мораль мы опустим. Орландо, впрочем, скоро наскучил этой жизнью – и не только из-за отсутствия комфорта и убогости соседствующих улиц, но из-за грубых нравов простонародья. Здесь мы должны напомнить, что нищета и преступления не обладали для елизаветинцев столь притягательной силой, какой обладают в наших глазах. Те вовсе не стыдились образованности; ничуть не считали, что родиться сыном мясника – удача и что неграмотность – великая заслуга; отнюдь не полагали, подобно нам, что «жизнь» и «действительность» непременно сопряжены с невежеством и хамством, равно как и с другими синонимами двух этих слов. Вовсе не в поисках «жизни» вращался Орландо среди простолюдинов; вовсе не в погоне за «действительностью» он их оставил. Но, выслушав в сотый раз, как Джек потерял свой нос, а Сьюки свою невинность – а рассказывали они об этом, надо сказать, прелестно, – он несколько затосковал от повторения, потому что нос может быть отрезан всего одним манером, как и потеряна невинность, – или так ему казалось? – тогда как разнообразие в искусствах и науках живо задевало его любознательность. А потому, навсегда сохранив о них благодарную память, он перестал посещать пивные и кегельбаны, серый плащ засунул в шкаф и, сверкая звездой на шее и подвязкой на колене, снова явился при дворе короля Якова. Он был молод, он был богат, он был хорош собой. Никто не мог быть встречен с большей готовностью и

ободрением, чем он.

Во всяком случае, многие дамы – и это достоверно известно – стремились его осчастливить. Три имени, по крайней мере, открыто сопрягались с его именем и титулом: Хлоринда, Фавила, Ефросиния – так он их называл в сонетах.

Изложим по порядку. Хлоринда была весьма изысканная, тонкая особа, – во всяком случае, Орlando был не на шутку ею увлечен шесть с половиной месяцев; но у нее были белые ресницы, и она не выносила вида крови. Из-за жареного зайца на отцовском столе она упала в обморок. К тому же она подпала под влияние попов и экономила на нижнем белье, чтобы подавать милостыню. Она взялась наставлять Орlando на путь истинный, и это оказалось так противно, что он сбежал, и не очень в том раскаивался, когда она вскорости умерла от оспы.

Фавила, следующая, была из совсем другого теста. Дочь бедного сомерсетского дворянина, исключительно благодаря собственному усердию и неустанной работе прекрасных глазок она пробилась ко двору, а там уж искусство в верховой езде, изящная поступь и легкость в танцах снискали ей всеобщее расположение. Однажды тем не менее она имела неосмотрительность так отстегать спаниеля, разодравшего ей шелковый чулок (справедливости ради следует заметить, что чулок у Фавилы было немного, да и те в основном простые), что тот чуть не отдал Богу душу под самым окном у Орlando. Орlando, страстный любитель животных, тотчас разглядел, что зубы у Фавилы кривые, а два передних торчат, объявил, что это вернейший признак жестоких и порочных наклонностей в женщине и в тот же вечер разорвал помолвку навсегда.

Третья, Ефросиния, была, безусловно, самым серьезным его увлечением. Она происходила от ирландских Дезмондов, и фамильное ее древо, таким образом, было не менее древним и глубоко укорененным, чем у Орlando. Она была светловолоса, цветущего здоровья и разве самую малость флегматична. Она свободно изъяснялась по-итальянски, сверкала прелестным рядом верхних зубов, хотя нижние, быть может, и были чуточку не так белы. Она показывалась на люди не иначе как с гончей либо со спаниелем на коленях, кормила их белым хлебом с собственной тарелки; дивно пела под клавесин – и всегда была не одета до полудня, так тщательно она следила за собой. Одним словом, самая подходящая партия

для высокородного юноши, подобного Орландо, и дело было на мази, стряпчие с обеих сторон уже пеклись о брачном договоре, вдовьей доле наследства, приданом, резиденциях и прочем, что требуется утрясти, чтобы одно большое состояние сочетать с другим, когда вдруг, с резкостью и суровостью, присущими в те времена английскому климату, нагрянул Великий Холод.

Великий Холод, свидетельствуют историки, превосходил суровостью все холода, когда-либо выпадавшие на долю этих островов. Птицы гибли на лету и камнем падали на землю. В Норвиче одна молодая крестьянка, пустившись через дорогу во всегдашнем своем крепком здравии, при всем честном народе была застигнута на углу ледяным вихрем, обращена в пыль и в таком виде взметена над крышами. Смертность среди овец и крупного рогатого скота достигала небывалых показателей. Трупы промерзали так, что их не удавалось отодрать от почвы. Нередко приходилось видеть на дорогах недвижные стада замороженных свиней. В полях то и дело попадались пастухи, крестьяне, табуны коней, мальчишки, пугавшие птиц, загубленные морозом в мгновение ока: кто ковыряя в носу, кто прикладываясь к бутылке, кто целясь камнем в ворону, которая, в свою очередь, чучелом торчала на ограде в метре от него. Мороз так свирепствовал, что его следствием порой являлось некое окаменение: полагали, что множеством новых скал в известных своих частях Дербишир обязан вовсе не извержению вулкана, ибо такового не наблюдалось, но отвердению несчастных путников, в буквальном смысле слова застывших в пути. Церковь ничего не могла поделать, и хотя кое-кто из землевладельцев считал эти останки, большинство предпочитало их использовать как межевые вехи, указательные столбы или, когда форма камня позволяла, корыта для скота, каковым целям они, по большей части превосходно, служат и поныне.

Но пока сельский люд страдал от лютых бедствий и жизнь в глуши застопорилась, Лондон предавался пышным празднествам. Двор находился в Гринвиче, и новый король, придравшись к коронации, решил наладить отношения с народом. Он повелел, чтобы реку, промерзшую на двадцать футов в глубину и в обе стороны на шесть-семь миль, расчистили, изукрасили и превратили в увеселительный парк с беседками, лабиринтами, аллеями, питейными киосками и прочая, и прочая – все на его счет. Для себя и придворных он выговорил известное пространство прямо против дворцовых ворот, каковое, отгороженное от публики всего

лишь шелковой лентой, тотчас сделалось средоточием самого блистательного общества Англии. Важные государственные мужи в жабо и бородах вершили судьбы отечества под малиновым навесом королевской пагоды. Военачальники замыслили падение мавра и разгром турчанина в полосатых шатрах, венчанных страусовыми перьями. Адмиралы важно ступали по узким тропкам, с бокалом в руках, озирая горизонт и рассуждая о северо-западном походе и Испанской Армаде. Возлюбленные пары амурились на соболями устланных диванах. Мерзлые розы градом сыпались на королеву, гулявшую в сопровождении придворных дам. Разноцветные шары недвижно парили в воздухе. Там и сям пылали в огромных праздничных кострах дубовые и кедровые поленья, густо посыпанные солью, так что пламя казалось зеленые, рыжие, лиловые языки. Но как ни жарко горело, оно не могло растопить лед, который при небывалой своей прозрачности мог твердостью поспорить со сталью. Так прозрачен был лед, что на глубине нескольких футов можно было разглядеть где застывшего дельфина, где форель. Невдвигно лежали косяки угрей, и вопрос о том, состояние ли это смерти или всего лишь забытья, из которого могло бы вывести тепло, терзал мыслителей. Близ Лондонского моста, там, где река промерзла сажень на двадцать, на дне была отчетливо видна баржа, затонувшая осенью под неподъемным грузом яблок. Старуха маркитантка, поспешавшая с товаром на суррейскую сторону на рынок, сидела в своих платках и фижмах, с яблоками в подоле, и можно было поклясться, что она их предлагает покупателю, если бы некоторая голубоватость губ не выдавала горестную правду. Это зрелище особенно развлекало короля Якова, и он приводил сюда придворных на него полюбоваться. Словом, трудно передать, как весело и живописно тут было днем. Но по ночам праздничное настроение достигало высшей точки. Ибо мороз не отпускал; ночи стояли тихие; луна и звезды сверкали с упорством бриллиантов, и под нежные звуки гобоев и лютней двор танцевал. Орландо, надо признаться, был не силен в куранте или вольте, скорей неловок и несколько рассеян. Простые танцы родной страны, к которым был приучен с детства, он явственно предпочитал этим чужеземным выкрутасам. Он как раз сомкнул пятки, заключая очередной менуэт или кадрили, в шесть часов вечера седьмого января, когда скользнувшая из шатра московитов фигурка не то мальчика, не то девушки, ибо свободный камзол и шальвары (по русской моде) скрывали пол, привлекла его сугубое внимание. Эту, какого бы ни была она пола, особу, небольшого роста и редкой стройности, всю облекали устричного цвета бархаты, отороченные невиданным зеленоватым мехом. Но подробности затмевались ослепительной

соблазнительностью особы. В мозгу Орландо сплетались и свивались самые дерзкие и странные метафоры. Он назвал ее дыней, ананасом, оливой, изумрудом, лисицей на снегу – и все за три секунды; он сам не знал, видел он ее, слышал, пробовал на вкус или все это сразу. (Ибо, хотя мы обязаны ни на мгновение не прерываться в своем повествовании, нам придется, однако, походя пояснить, что все образы его в то время были чрезвычайно просты, под стать его же чувствам, и по большей части внушены простыми навыками детства. Но, будучи просты, чувства его были и на редкость сильны. И соответственно, о том, чтоб прерываться и анализировать причины этого явления, не может быть и речи...) Дыня, изумруд, лисица на снегу – так бредил он, так ее называл. И когда мальчик, ибо это, увы! был, конечно, мальчик – может ли женщина так бешено, так стремительно носиться на коньках? – чуть не на цыпочках промчался мимо, Орландо готов был рвать на себе волосы с досады, что особа оказалась одного с ним пола и про объятия нечего и думать. Но вот конькобежец снова приблизился. Ноги, руки, осанка были мальчишеские, но мог ли быть у мальчика этот рот, могла ли быть у мальчика эта грудь, могли ли быть у мальчика эти глаза, словно выуженные со дна морского? Наконец, присев в обворожительном, дивном реверансе перед королем, который, опираясь на придворного, шаркал мимо, она остановилась. Она была совсем рядом. Она была женщина. Орландо смотрел, дрожал, его бросало в жар, трясло в ознобе; его мучительно тянуло бежать сквозь летний зной, давить пятками желуди, обнять дубы и буки. На поверку же он задрал верхнюю губу над белыми мелкими зубами – ощерился, как для укуса; щелкнул челюстью, будто уже укусил. Леди Ефросиния повисла у него на локте.

Имя незнакомки, он выяснил, было Маруся Станиловска Дагмар Наташа Лиана из рода Романовых, и она сопровождала не то отца своего, не то дядю, посла московитов, прибывшего на коронацию. О московитах известно было немного. В своих огромных бородах, под меховыми шапками, они почти всегда молчали; пили какое-то темное пойло, то и дело его сплевывая на лед. По-английски они ни слова не понимали, правда, кое-кто из них мог изъясняться по-французски, но тогда он был почти не принят при английском дворе.

По этому случаю Орландо и познакомился с княжной. Они сидели друг против друга за накрытым под огромным навесом большим столом для избранных. Княжну усадили между двумя молодыми лордами. Один был

Фрэнсис Вир, другой – юный граф Морэй. Потешно было наблюдать, как она то и дело ставила их в тупик, ибо, хоть оба были по-своему недурные малые, французским они владели ничуть не лучше нерожденного младенца. Когда в самом начале ужина княжна, оборотившись к соседу, с изяществом, пленявшим его сердце, говорила: «Je crois avoir fait la connaissance d'un gentilhomme qui vous était apparenté en Pologne l'été dernier» [3] или: «La beauté des dames de la cour d'Angleterre me met dans le ravissement. On ne peut voir une dame plus gracieuse que votre reine, ni une coiffure plus belle que la sienne» [4], оба, лорд Фрэнсис и граф, выказывали величайшее недоумение. Один настойчиво потчевал ее хреном, другой свистнул своего пса и заставил его выпрашивать мозговую косточку. Тут уж княжна не выдержала и расхохоталась, и Орландо, через кабаньи головы и чучела павлинов поймавший ее взгляд, расхохотался тоже. Он на нее смотрел, он хохотал, но вдруг смех замер на его губах. Кого он любил, спрашивал он себя, захваченный вихрем чувств, что он любил доныне? Старуху, он отвечал себе, – кожу да кости. Румяных потаскух без числа. Нудную монашку. Грубую, зубастую авантюристку. Сонный тюк кружев и жеманства. Прошедшая любовь была – угасший пепел, тлен, не более того. Радости ее – до жути пресны. Странно, как еще ему удавалось, извлекая их, удерживать зевоту. Да, пока он смотрел, кровь в нем плавилась, лед таял и тек вином по жилам; он слышал звон ручьев, пение птиц, ключ бил сквозь зимние снега; мужество его очнулось – он сжимал в руке кинжал, звал на бой врага свирепей мавра и поляка; он нырял в пучину; опасность затаилась в расщелине, как роковой цветок; он увидел этот цветок, протянул руку... словом, он одним духом источал один из самых пламенных своих сонетов, когда княжна адресовалась к нему:

– Не будете ли вы добры передать мне соль?

Он залился краской.

– С превеликим удовольствием, сударыня, – отвечал он на безукоризненном французском. Ибо, благодарение Небесам, он владел этим языком как родным. Материна горничная его обучила. Хотя, быть может, лучше бы ему не знать этого языка вовсе, не отвечать на этот голос, не покоряться свету этих глаз...

Княжна продолжала. Кто эти болваны рядом с нею, спрашивала она, с повадками конюхов? Что за тошнотворную пакость они суют ей на

тарелку? И неужто английские собаки едят с людьми за одним столом? И неужто это чучело в конце стола, со включенной, как Майский шест [5], прической (*une grande perche mal fagotée* [6]), – в самом деле королева? И неужто же всегда король так пускает слюни? И который же из тех хлыщей Джордж Вильерс [7]? Вопросы эти сперва огорошили Орландо, но задавались они с такой резвой хитрецей, что он не мог удержаться от смеха; и, по безмятежным лицам сотрапезников заключив, что те не понимают ни слова, он отвечал ей с той же откровенностью и на столь же безукоризненном французском.

Так было положено начало задумчивым отношениям, вскоре вызвавшим возмущение двора.

Все заметили, что Орландо оказывает москвитянке куда больше внимания, чем велит простая учтивость. Их постоянно видели вместе, и, хоть беседа их была недоступна остальным, велась она так живо, то и дело перемежалась такими улыбками и потуплением взоров, что и круглый дурак сразу бы догадался, что к чему. Более того – самого Орландо будто подменили. Никогда еще не наблюдалось за ним такой прыти. Куда девалась мальчишеская неловкость; из хмурого недоросля, чувствовавшего себя в гостиных как слон в посудной лавке, он превратился в благородного мужа со зрелым достоинством манер. Вел ли он москвитянку (так ее называли) к саням, хватал ли оброненный ею грязный носовой платок, оказывал ли одну из прочих услуг, которых владычица души ждет и жадно предугадывает влюбленный, – то было зрелище, способное зажечь тусклый взор старика и заставить учащенно биться молодое сердце. И все это, однако, мрачила туча. Старики пожимали плечами. Юнцы исподтишка хихикали. Все знали, что Орландо помолвлен с другой. Леди Маргарет О'Брайен О'Дэр О'Рэйлли Тайрконнел (ибо таково было подлинное имя Ефросиний его сонетов) носила на среднем пальце левой руки роскошный сапфир, подаренный Орландо. Это она имела исключительное право на его внимание. И тем не менее она могла переронять на лед все свои платки до единого (а их у нее было много дюжин), – Орландо и не думал за ними наклоняться. Она по двадцать минут ждала, пока Орландо отведет ее к саням, и в конце концов смирялась с услугами своего арапа. Когда она бегала на коньках – а бегала она весьма неловко, – никого не было рядом, чтобы ее ободрить, и, когда она плюхалась на лед, а плюхалась она довольно тяжело, – никто не помогал ей встать, никто не отряхивал снег с ее юбок. И, флегматичная от природы, неспособная обижаться и меньше

всех готовая поверить, что какая-то иностранка может увести у нее из-под носа Орландо, все же и сама леди Маргарет в конце концов вынуждена была заподозрить, что ее покою кое-что грозит.

И то сказать, дни шли, а Орландо давал себе все менее труда скрывать свои чувства. Под тем или иным предлогом он покидал общество сразу после ужина или спешил улизнуть от конькобежцев, когда те затевали фигуры для кадрили. И тотчас замечалось и отсутствие москвитянки. Но более всего бесило придворных, жалило их в самое чувствительное место (каковым у них является тщеславие) то, что парочка на глазах у них частенько ускользала за шелковую ленту, отгораживавшую королевскую площадку от остальной реки, и терялась в толпе простонародья. Потому что княжна вдруг топала ножкой и кричала: «Уведи меня отсюда! Ненавижу твою английскую чернь!» – каковым словом она обозначала как раз английской двор. Она уже не в состоянии это выносить, говорила она. Старухи богомолки пялятся на твое лицо, наглые юнцы не дают проходу. От них воняет. Собаки путаются под ногами. Чувствуешь себя как в клетке. В России – там реки шириною в десять миль, скачи себе в карете цугом и за целый Божий день ни души не встретишь. К тому же ей хотелось посмотреть Тауэр, и лейб-гвардейцев стражников, и головы на Лондонских воротах, и лавки ювелиров. И Орландо отправлялся с нею в город, показывал лейб-гвардейцев стражников, головы мятежников, скупал все, на что в лавках падал ее взгляд. Но этого было недостаточно. Обоим все пламенней хотелось побыть наедине, подальше от пересудов и сплетен. И вместо Лондона они сворачивали в другую сторону и скоро оказывались в промерзлых верховьях Темзы, где, кроме морских птиц да какой-нибудь деревенской бабы, колющей лед в напрасной надежде нацедить ведро воды или тчившейся набрать сухих щепок для растопки, им не встречалось ни души. Бедняки держались поближе к своим хижинам, а публика почище, те, кому это по карману, подавались в город в поисках тепла и удовольствий.

И таким образом, Орландо и Саша, как он прозвал ее для краткости и еще потому, что так звали белого русского песца, который был у него в детстве, – создание нежное, как снег, но с зубами тверже стали; однажды он так куснул Орландо, что отец приказал его убить, – и таким образом, они владели Темзой нераздельно. Разгоряченные коньками и страстью, они валились в снега пустынного плеса, отороченные желтыми прибрежными ветлами, и Орландо заключал ее в объятия под огромной шубой, и впервые,

впервые в жизни, он лепетал, наслаждался счастьем любви. Потом, утолив восторг, оба истомно лежали на снегу и Орландо ей рассказывал о других своих возлюбленных: деревяшки, тлен, одно недоразумение – вот что они были такое в сравнении с нею. И, посмеиваясь над его горячностью, она снова заключала его в объятия и снова целовала. И они дивились, как это лед не плавится от их накала, и жалели бедную старушку, которой, не имея естественных ресурсов для его растопки, приходилось орудовать старым косарём. А потом, окутавшись своими соболями, они болтали про все на свете: про странствия и виды; про мавров и поганных; про чью-то бороду и чьи-то брови; про то, как она с руки кормила крысу под столом; про гобелены – непременно принадлежность их прихожих; про то лицо; про то перо. Ничто не было ни слишком мелким для их бесед, ни чересчур великим.

Но вдруг на Орландо находил один из приступов его тоски – из-за старухи, жалко топтавшейся на льду, а то и вовсе без причин, – и он ничком ложился на лед, смотрел на промерзшую воду и думал о смерти. Ибо прав тот мудрец, который уверяет, что счастье всего на волосок отделено от тоски; и рассуждает далее, что это – близнецы, и извлекает отсюда умозаключение, что всякая крайность в чувствах отдает безумием; рекомендует нам искать спасения в лоне истинной (в его случае анабаптистской) Церкви, являющейся единственной гаванью, якорем и прибежищем и прочее, и прочее для тех, кого швыряет на волнах этого безжалостного моря.

– Все кончится смертью, – говорил Орландо, садясь, с потемнелым от тоски лицом. (Ибо дух его тогда, как на качелях, метался между жизнью и смертью, решительно без всяких остановок в промежутке, так что где уж останавливаться биографу, нет, напротив, ему надо торопиться изо всех сил, чтобы поспеть за безотчетно горячими, глупыми выходками и дикой произвольностью речей, чем, невозможно отрицать, грешил в те поры Орландо.) – Все кончится смертью, – говорил Орландо, садясь на льду. Но Саша, которая не имела в жидях ни капли английской крови и родилась в России, где закаты медлят, где не ошарашивает вас своей внезапностью рассвет и фраза часто остается незавершенной из-за сомнений говорящего в том, как бы ее лучше округлить, – Саша смотрела на него во все глаза, смеялась над ним, потому что он, наверное, казался ей ребенком, и ничего не отвечала. Меж тем лед под ними остывал, холодил, жалил Сашу, и, потянув Орландо за руку и заставив встать, она говорила так тонко, остро и умно (но все это, к сожалению, на французском, который ужасно

опресняется при переводе), что Орландо, забыв о промерзших водах и нависшей ночи, о старухе и тому подобном, пытался объяснить Саше – ныряя, плескаясь, барахтаясь в образах, выдохшихся, как и вдохновившие их дамы, – на что она похожа. Снег, пена, мрамор, вишня в цвету, алебастр, золотая сеть? Нет, все не то. Она была как лисица, как олива, как волны моря, когда на них смотришь с вышины, как изумруд, как солнце на мураве покуда отуманенного холма – но ничего этого он не видел и не знал у себя в Англии. Он прочесывал весь родной словарь – и не находил слов. Тут требовался иной пейзаж, иной строй речи. Английский был слишком очевидный, откровенный, слишком медвяный язык для Саши. Ведь во всем, что говорила она, как бы она ни разливалась соловьем, всегда что-то оставалось утаенным; за всем, что она делала, как бы безоглядны ни были ее порывы, всегда скрывалось что-то. Так упрятан зеленый пламень в изумруде, так заточено в муравчатом холме солнце. Только снаружи была ясность – в глубине блуждали огненные языки. Вот загорелись – вот загасли: никогда не сияла Саша ровными лучами, как английские женщины; но тут, однако, припомнив леди Маргарет и ее юбки, Орландо осекся, запутался, зашелся, повлек Сашу по льду быстрее, быстрее, быстрее и клялся, что он настигнет пламя, найдет оправу, найдет управу, нырнет на дно за перлом и прочее, и прочее, перемежая слова вздохами со всем пылом, свойственным поэту, когда стихи из него выдавливают боль.

Конец ознакомительного фрагмента. Читать дальше:

[Перейти](#)